

16.12.94.

Передрев Анатолий

Лит. Россия. — 1994. — 16 дек. — с. 13.

СУДЬБА

Анатолия Передреева

18 декабря ему исполнилось бы 60 лет

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ — и уже не могли расстаться целые сутки — в предзимний день 1960 года. Анатолий к тому времени еще не создал ни одного из тех своих зрелых стихотворений, которые обеспечили ему место в любой — даже наиболее придирчиво составленной — антологии русской поэзии второй половины XX века. Однако и тогда легко можно было предвидеть, что он создаст такие стихотворения.

Весь еще лучившийся светом юности, но успевший уже немало пережить и узнать, Анатолий Передрев приехал «завоевать» столицу — и не скрывал этого своего «плана». Ранние годы в саратовской деревне, отрочество и первые юные лета на Кавказе (столь много значившем в истории отечественной литературы), странствия по Сибири — все это сплывало в глубокое и многостороннее понимание и чувство жизни, а затем и поэзии.

И Анатолий Передрев сумел всего за несколько лет обрести безусловное признание. Его высоко оценили совершенно разные, даже в сущности несовместимые люди литературы — и Николай Асеев, и Александр Яшин, и Борис Слуцкий, и Виктор Астафьев, и Александр Межиров, и Василий Белов, и Ярослав Смеляков, и Олег Михайлов, и Александр Михайлов, и Зиновий Паперный, и Егор Исаев, и Лев Аннинский, и Александр Вампилов, и Владимир Соколов, и Александр Гвардовский (который печатал Передреву в своем журнале, хотя стихи «фильтровались» им с предельной требовательностью и даже подчас капризностью), и, конечно, намного раньше, чем кто-либо другой, — Станислав Куняев, и... — да всех и не перечислить...

Сам поэт проявил редкостную широту литературных интересов: так, он бывал и в сохранявшем черты богемы начала века «салоне» Лили Брик, и в абсолютно несовместимым с этим влиятельнейшим мирком окружении Николая Рубцова (который, кстати сказать, одного только Анатолия Передреву признавал в качестве «наставника»).

Все это может показаться странным, если не учитывать, что Анатолий Передрев очень рано обрел подлинную культуру творческого сознания и самого поведения — культуру, состоящую не воре сведений и мнений, а в глубине внимания и переживания любого явления поэзии и мира. Проблема культуры — это отнюдь не количественная (сумма знаний и навыков), но сугубо «качественная» проблема. Суть дела не в том, чтобы знать как можно больше, но в выраженной в себе способности распознать и выделить безусловные и высшие ценности. И Анатолий Передрев очень рано обрел эту способность. Он, например, безошибочно находил в наследии поэтов второго, третьего и т.п. ряда — скажем, Апухтина и Фофанова — те несомненные достижения, которые и обеспечивают им законное место на русском Парнасе. И, быть может, особенно замечательна была его способность беспристрастно оценить далекое или вообще чуждое.

В памяти многих не очень близко знавших поэта людей он остался как человек очень «вольного» образа жизни, пресловутый «гуляка праздный». Но ясно помню, как в конце 1961 года мы волею именно гулявого случая оказались на несколько дней в нижегородской гостинице (говоря нижегородская, я не приписываю к нынешнему поветрию обратных переименований, ибо я и тогда называл славные русские города и, конечно, улицы их вековыми именами). И, представьте себе, в любой мало-мальски подходящий час Анатолий Передрев, повинувшись какому-то внутреннему зову, начинал работать над стихами...

Сам Нижний Новгород мы восприняли тогда как некое действительное пограничье российской Европы и Азии. И был безнадежный и — одновременно — обнадёживающий смысл в одной нелепейшей «встрече». Бродя по улицам над Волгой, мы зашли, прошу извинения, в то общественное место, куда, как говорится, и царь пешком ходил. Оно было, прямо скажу, ужасно, особенно потому, что на грязнейшем полу в зловонной луже лежал одетый в когда-то бывшую тулупом хламида человек. И — прямо-таки мистическое событие — человек этот, увидев

Передреву, поднялся, хотя и с трудом, навстречу и заплетающимся языком стал читать стихи — явно свои... Слов почти нельзя было разобрать, но ритм звучал настоящий. Хотелось познакомиться с этим нижегородским поэтом ближе, но...

Вечером того же дня в гостиничном ресторане — деликатно попросив разрешения, — к нам подсел со своими бутылками мужчина средних лет, представившийся: «Бухгалтер Васюгин из Арзамаса» — и тут же начал совершенно замечательный рассказ о том, как он был в германском плену, как в мае 1945-го один пожилой немецкий солдат вел колонну из сотен русских пленных на Запад в зону Ю-эс-эй, умоляя, чтобы не разбегались, ибо тогда его расстреляют свои (и русские, жалея старика, не разбегались), как потом, после «выдачи союзников», долго «проверяли» Васюгина и его спутников в «родном» лагере и т.д. Рассказчик словно хотел внедрить в поэтическое сознание Передреву переполнявший его душу трагикомический смысл.

И до сих пор не могу понять, как угадывали, что перед ними — поэт, эти запечатлевшиеся навсегда в моей памяти диковинные, но доподлинно русские люди...

У меня сохранилось от того бесшабашного нижегородского вояжа начатое, но так и не законченное стихотворение Анатолия:

За бором бор,
за бором бор
Стволы поскрипывают сонно...
И вдруг осекся взор — забор!
«Не подходить!» — кричит мне зона.

Загородив, сляпав простор
Так неуместно, так нелепо
Стоит забор, большой забор,
Забор, построенный до неба.

Угрюма власть колючих пуг,
Державя проволоки ржавой,
А облака плывут... плывут
Так осязаемо, шершаво.

Но в вышине блещет затвор,
Следит воронным глазом дуло,
Чтоб за забором про забор
Никто особенно не думал.

Но вот забор открыл ворота,
Как медленный зевотный рот.
Он выпускает на работу
Небранный лагерный народ...

Поэт, полагаю, не стал завершать стихотворение из-за известной печати «формализма» — игры со словами «бор», «забор» и др., явно противоречившей драматическому смыслу (увлечение модными тогда и позже звуковыми эффектами коснулось на какое-то время и Анатолия Передреву, но он очень быстро преодолел эту болезнь роста).

Как уже сказано, поэт стремился «завоевать» Москву, что было естественным молодым порывом. И на уровне наиболее серьезных тогдашних ценителей поэзии, он к середине 1960-х годов (в 1964 году вышла в свет его первая книжка «Судьба») это совершил. Вокруг него сошелся даже своего рода «культ» — но культ, который никому не наносил вреда, кроме самого Анатолия Передреву... И отнюдь не в том смысле, что поэт зазнался, им овладела гордыня и т.п. Он, конечно, знал себе цену, но цель, к которой он теперь, после признания, стремился, была в его глазах гораздо выше и значительнее всего, что он написал.

И, как мне представляется, произошел опасный разрыв: уже явное и несомненное, нередко восторженное признание со стороны едва ли ни всех людей, с мнением которых Анатолий Передрев считался, привело к тому, что ему как бы не нужно было «утверждать» себя в литературе и вообще в «посюстороннем», земном мире. Но в своем горнем творческом мире поэт ставил перед собой недостижимую цель.

Он хотел бы творить так же, как Пушкин, но во второй половине XX века это было заведомо неосуществимым стремлением. Он взывал ко мне в 1965 году:

Настрой же струны на своей гитаре;
Настрой же струны на старинный лад,



В котором все в цветенье и разгаре —
«Сияла ночь, луной был полон сад».

— и фетовская строка являла собой не поэтическое, но словно бы вполне реальное окно, настесь открытое в совершенно реальную и до боли прекрасную ночь. Но таково вообще соотношение поэзии прошлого и нашего века...

Вспоминается сцена, в которой, так сказать, весьма своеобразно, но поистине осязаемо выразилось то, о чем идет речь. Как-то — это было в конце 1960-х годов — у меня летним вечером засиделся — конечно, не без батареи таких общедоступных в то время «емкостей» — Анатолий Передрев и Андрей Битов. Уже близился рассвет, когда атмосфера (что было характерно для подобных посиделок) накалилась, и Битов — человек очень, даже, пожалуй, чрезмерно умный и потому особенно умеющий «ужалить» — бросил:

— Ты, Анатолий, все понимаешь, ну прямо-таки все-все, а вот с казателем не можешь: смотри, у тебя от этого даже жила на шее напрягается...

Передрев не остался в долгу:

— А в твоей прозе, Андрей, ни одной настоящей ж и в о й фразы нет — ну, такой вот хотя бы: «Я ехал на перекладных из Тифлиса...» Ни одной!

Через пару минут мне пришлось уже разнимать спорщиков руками, на которых в результате появились кровотокающие ссадины...

Лишь на рассвете спорщиков «развел по углам» специально привезенный для того из гостиницы «Украина» авторитетный посредник. Это был казавшийся тогда гораздо более старшим и безоговорочно уважаемым обоими — в качестве как бы литературного отца — Виктор Астафьев; впрочем, мне сегодня не хочется говорить о нем...

В описанной вроде бы чисто бранной полемике содержался самый глубокий смысл. Анатолий Передрев действительно хотел говорить в стихах столь же первородно, как говорил и в стихах, и в прозе Лермонтов (первую фразу романа которого он напомнил); однако говорить так в XX веке невозможно... Ни в стихах, ни в прозе.

Битов это, конечно же, понимал, и потому его «обвинение» было точным, но в то же время явно несправедливым. Ибо тот факт, что Анатолий Передрев мучился и переживал невозможность говорить так, как это делали классические поэты России, свидетельствовал вовсе не о какой-то его «ущербности», но, напротив, о его несомненном превосходстве над современниками. И в его нежелании смириться с этой «невозможностью» я вижу истинный глубинный смысл его жизненной и творческой драмы, роковое — и подлинно высшее — противоречие его судьбы.

За последние полтора десятилетия жизни Анатолий Передрев написал немало (хотя замыслы были). Но высочайшее устремление воплощено в его лучших стихотворениях и в душах читателей, которые дослышат эту запредельную ноту, она будет звучать всегда...

Вадим КОЖИНОВ